
Z 77/5


Z 77/5
ДАЕШЬ!
Ф. Б.
1922 г.

ДАЕШЬ!

КАК БУДТО СТИХИ.

Послесловия Василия Каменского, Велимира Хлебникова, Сергея Спасского, рабоч. Родова.

Обложка и стихи художника Федора Богородского.

1922 год.

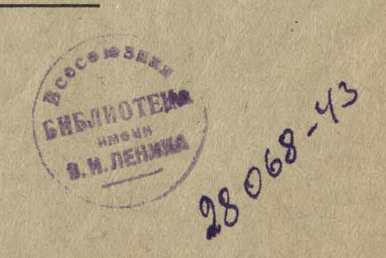
Даешь!—специфическое матросское слово.

Даешь Царицын!—кричали красные моряки идя в аттаку.

Даешь закурить!—Берешь!

Хочешь шамать (есть)? Даешь братишка!

Даешь, берешь, огребаешь!—звучит анархограбительски, но по существу это выражение лишь веселый символ независимости и отчаянной удали, именно того, за что матросов прозвали братишками—славными ребятами с своеобразной коллективистической психологией и мировоззрением, выработанными в долгих плаваниях и жизнью в морских портах, где так нужна взаимная спайка и дружба. Эта решимость, спайка и дали повод в свое время назвать моряков „красой и гордостью революции", ибо моряки дрались и умирали, как один с последним криком „даешь свободу"!!



Выпуская вторую книгу стихов, (первая когда-то конфискована) ни на что не претендую. Если передам читателю хоть сотую часть своей энергии, бодрости и жизнерадостности—задача моя исполнена.

Если в книге нет поэзии—не надо. Плевать на нее с любого Везувия!

Если стихи плохо написаны—не каждый матрос и эдак сумеет, а в свое время и Уитмен плохо писал. Придет время—напишу хорошо.

Зато я знаю, что книга будет родной одному из миллиона. Этот один из миллиона—ты.

Вот я и доволен.

Федор Богородский.

... Прочие, кому стихи мои не нравны, того прошу, чтоб их не читал.

Кантемир.

Возгремела балалайка!

Державин.

О, рассмейтесь смехачи!

В. Хлебников.

Обложку гравировал *П. Ф. Шляков.*

Набирали книгу: *И. В. Симонов, А. П. Массов, П. М. Муравьев, К. Л. Рожков, Г. М. Данилов.*

Печатал: *А. К. Рыбаков.*

МЕДНАЯ СИЛА.

Каждым
рявканьем пушечным
дрогает серое ухо,
это-ли надо
лучше им,
озаренным прожектором духа!
В этой-ли
разухабистой пляске
в окопах страниц
запятые—
будут услышаны лязги
влезшего в книгу Батыя.
Все, что рождается
хлесткого
в мысли родильных домов—
это патент Богородского
льющего олово слов!

Только он
революционер истый,
потому что он—
оптимист,
если были когда коммунисты,
он первейший из них
коммунист!

I.

Эх.
Да и какой-же ты
здоровый!
—как
стальной язык медного колокола.
Румяный, да безбровый,
морда лопается
как арбуз.
У тебя и сердце голое
вылезло из грудных рейтуз!
... В любом кремле
любого города
строит ум палаты,
а ты
на земле
наругал карпаты!
Лаешся
матерщиной
и в бога

и в боженят,
вот тащи! на!
свой кулугурский обряд!

* * *

Вот и весна.
Под дорогомиловским мостом
плавают осколки зеркал,
этим предпасхальным постом
мысль о пасхе
мост заласкал...
Поднял железные ресницы
к бровям чугунных скреп,
это-ли
те-ли лица,
тот, или этот ослеп.
А за городом
стада лугов
пасутся лесов пастухами,
ивы,
березы,
липа,
дуб...
ввинтился в облачную гайку
лучей шуруп...

* * *

А ты
здоровый,
как коровай хлеба
невыпеченными глазами
в румяное небо
плюешь!
—там-ли
в том-ли
этом-ли далеке
красный стяг
и медный май,
где-то
где-то
где-то воевали
бомба, штык
луна и броневик...
мир-ли
нет-ли
царь-ли, совнарком-ли,
сельсовет,
Губисполком...

—Нет тебе до этого дела,
как любой любимой
до имени нашего
„Федор“.

II.

Лето,
это-ли
лето-ли,
если зеленые листья
желтели,
если рябина
рябила глаза
коричневой рябью
в зардевших грядах
георгинов...
Каждым утром
в зипуньей молитве
с вылезшими,
как шерсть
святыми словами,
с хоругвями
мужики
у горбатого бога
выпрашивали дождь,
как копейку
на корочку хлебца
Нет дождя!
Последние слезы
выпиты ртом
беззубого зноя,
нет росы!
не та-ли
роса-ли
в коровьем глазу,
как в мадоньей иконе
мерцает у свечки старушьей.
Одна коровья слеза
всех телят напоила-ли!
лучше-б
глаз у коровы
вырвали...

* * *

Ты лежишь
у желтого колоса,
подумаешь!
Ноги коллоса

шагать по равнине устали
в усохшие дали!
Лежишь,
как
железная рельса
на шпале,
словно пулей об'елся
истрелявшийся шпалер!
Нет тебе дела—
засуха-ли
голод-
ли,
на той колокольне
раскололся колокол
в засушьей боли.

* * *

Осень.
Шаги босого Мессии
к колодцам нагих деревень,
падают
седые пряди волос
на плетень
с измученной головы России.
Небо-ли
сонный пастух
облако в поле гонит,
в мокром амбаре петух
курекает курицам небыли...
Упала в дожди часовня,
как лапоть в запруды озер,
зеленые ризы
иконьих лугов
стреноженный
мнет одер.
А ты—
угрюмый,
тяжелый,
как маневренный паровоз
лежишь животом укрывшись
от осенних гроз...
Лохматый,
скуластый,
как кулугурский скит,
лежишь—припрелый к земле
тысячилетнего монумента гранит...

Нет в тебе никакой динамики!
Динамика-ли в прелых лаптях!
Египетская
Карамика-ли
в твоих закорузлых локтях.
Ухо свое
положил на тайгу Сибири
Балтику ткнул ногой...
В каком мексиканском тире
прыгает мексиканец нагой!
Какой-же ты мексиканец!
Какой-же ты
—нептун морской!
Один у тебя
в мысли
танец—
в болотах лежать доской!

III.

Город.
Вкруг города
одни заводы.
Какие заводы!
Миры!
Хлещут, как кровь из горла
всякие народы
из ворот
юны и стары...
Вот один завод.
Завод.
Из
под
корпуса
взметнулись на дыбы
две
худые, побледневшие трубы
и сожженый пепел
день
и
ночь
в небе шарил истомленные лучи.
Черные ручьи
грязной, нефтяной воды
ржавыми руками
в черепах руды
щупали
остынувший чугун

и вздыбленный кран железных струн
впился в небо
судорожным ртом.
В каменной груди дымящих стен
меж
бетонных
высохших колен
пели песни маховики,
день
и
ночь
и
вечера
и
дни
черные ремни
от шестерни
отдирали искалеченную сталь.
Шли года,
шли года
день
и
ночь
и вечера
и дни
шелестели у станков ремни.

* * *

Оттоль-ли ты пришла
чернорабочая республика!
С какого ржавого котла,
каким болтом
столкнули как!
Твое,
как дизель
сердце-ли
шуршало кожанным ремнем.

. . . .

тебя-ли мы
отметили
торжественным огнем!
Чернорабочая республика!
В прыжке роскошных катастроф
смотри
смотри—
уснули как
размеры этих тощих строф.

Пришла
и не уйдешь отсель,
зане прияв бокалы стягов,
твоя-ли ныне свиристель
свистит в Архангельске варягов.
О, Революция!
—мозоль
в ладони вялой капитала!
ты со стропил историй встала
для
раздавить и скорбь и боль.
Смотри, смотри и улыбнись—
сегодня миллионный раз
знамена в площадь налились,
как в панталоны кровь невинной.

* * *

А ты,
лежишь
на первобытной свае,
как пуп судьбы на животе событий.
Ни в этом мае
ни в другом
не обретешь ты красной прыти.

* * *

И Волга сжала кулаки,
кистень
из барж
железных.
На пальцах
кольца кораблей
и рукава всучила пристань.
Эй, Волга, Волга,
мать родная,
ты размахнулася Окой,
Ветлугой в'ехала по скулам,
как
грузчик каменной рукой!

* * *

И вот:
в кровавых судорогах
биться
и в маузер
втискивать обойму,
закрой
простреленные лица
виска проломанную пройму!

И мы кричим:
хвала террору!
пусть кровь
затопит
баррикады!
Последний раз на сердце горе!
Последний раз мы будем падать!
И
в череп
вматываем с писком
от рельс изломанную гайку
пусть
стонет седенький епископ
в саду
губернской чрезвычайки.

* * *

Лежишь?
Лежи!
Долежишься до последних строк
нашей поэмы.
Нет такой дилеммы,
которую-бы не разрешила,
революционнейшая поэма.
Мы тебя поднимам
динамитом
орудийных строф.
Каждая буква—
бомбой
упадет тебе на живот
с аэроплана этих страниц!

* * *

Деревня,
деревня-ли
Эта-ли
Если
Такие стихи
о деревне написаны—

Деревня вкраплена в поля
как майский жук в венок
навоза,
Иуда
жажду утоля
венчает крест зеленой лозой...
У сельсовета стонет сход
а на дворе
доят корову...

Вложи овса в кобылий рот
внемли писанию Христову.
Твоя деревня
наш завод--

Вот наш удел
гнетущ и тяжек
апостол Петр!
Тебе-ль у вод
лягать коммуну дрябью ляжек!

VI.

Что это?
Стая-ли
аистов
на скирдах пшеничного неба
Как будто в груди облаков
снега изумрудные
стаяли.
Что это?
Песня-ли
в далеке морских островов,
как будто
Моцарта повесили
на медную пену рогов.
Вот она песня!
Чугунными сплавами
влилась в твое ухо,
как в форму
чугунно литейных цехов—
это-ли
Сормово
славит коммуну
бронзой стихов!

Эй, братва!
Сегодня буйство
озверелых кулаков
искромсать железным хрустом
мы свистим морских волков.
Бейте шпалером по солнцу!
в череп треснутый
гвоздем!
Только мы в кровавом танце
жжем сердца кривым огнем!
Эй, ты жизнь
Твои ли зубы
в лязге

пламенных веков!
пусть орут из глотки трубы
о безумьи моряков!
Шпалер в грудь!
Коленкой в горло!
В кулаке трещит скула!
Эй, братва!
Не ты ли стерла
накипь с медного котла.
В бога мать!
Полундра миру!
На дыбы
морская голь!
Жми
Дави
Даешь порфиру
Банде в черствую мозоль!

* * *

Вот она
песня старая,
выплеснутая борьбой,
как будто Волга
каркая
пошла в Жигули на разбой!

VII.

И вот
свершилось.
Новые заветы-ли
на арарате мысли,
мы
увидели
в скрижалях кованных событий.
— Нет России!
Нет Австралии!
Нет Франции с Парижем!
Петербург смывает Конго
в Бельгии
поет Тибет
и Христос
сегодня лает,
как болонка
потому, что мира нет.

Есть одна
великая,
как

миллион вскипевших океанов
громадная страна!
Владыка в ней
свободный труд,
как радость солнечной акации...
Рабочих нет.
Лишь есть
на мировейном лезвии
поэты
великой армии поэзии.

* * *

Уже историки
вписали в письмена
седыми перьями о том,
какая буйная волна
лилась тысячилетним сном...
И сотни красных Революций
Давили горло капитала
железным пальцем марсельез.
Уже
историков не стало,
распилен надмогильный лес
и письмена
великих Революций
библиотекарь в каталог
вписал
в забытый всеми срок.
На букву „ч"
Чека искали.
На букву „р"
Ревтрибуналы,
они, счастливые, не знали,
в какой крови рождался бог!

* * *

Теперь
весь мир—
великая коммуна—
декоративное панно!
И в облаках—
кудрях лагуны
скакало солнце на коне!
И вот
сейчас не с марса-ли
упал на Волгу гидроплан.
Привет с коммуны марсовой
ударил барабан.

VIII.

Вот оно!
Шевельнулось,
как маховик
в утробе фабрики.
Не девять месяцев,
а девятьсот столетий,
как робкие кораблики
всплеснулись бездной океана.

*
* *

А там
раздавлена Варшава—
мизинцем он вступил в бульвар.
Какой дымящий небоскреб
обрушился на суку
мочившую
у тумбы лоб!
В этом-ли
зверинце
в клетке-ли
Европы,
сдержать медведя
цепью злиться
под ряв и рык
и рев и ропот!
Мир-ли
синий сарафан
выткан красными цветами,
всех в весне
расцветших стран,
как в горнах
кипящей пламень!
Май один!
Весна одна!
Красный мир—
одна страна!

*
* *

Еще шевельнулось.
Голова поднялась
из косматой тайги Сибири,
как будто
весна отдалась
тысячеструнной поэтовой лире!
Лапы волос,
как хвои
соснового леса

взметнулись в оазисе
озерных гроз,
словно в римской битве
кесарь
меч над щитом занес.
Нога шевельнулась,
другая...
Вот оно:
Медная сила проснулась,
Байкалом спросонок рыгая!
Из бывшей России
кадилами месс,
как цымы
кудрявого ладана
запачканный кровью Христовой
крест
приволокся с Голгофы разгаданным.

*
* *

Села сила
одернув порты
глаза приподняв на бурю—
как будто буря—
щенок
лакающий молоко океана
Буря!
Чтоб не было бури!

*
* *

Из бывшей Германии
все на поклон:
сельскохозяйственные орудия:
тракторы,
молотилки
и даже из под них
какой-то ящик.
Все колеса свои
волоча
волочатся, как будто волчиха
своих волчат
зубами за шиворот
тащит.
Медной силе
все на поклон!
И даже памятники
из бывшей России
гениальных поэтов
какого то века
Каменского
и
Маяковского
пришагали по шпалам
паровозной калекой!

*
* *

И вот
руками
как Волга и Нил
медная сила
весь трудящийся мир
медленно благословила.

*
* *

Встала медная сила
кто она?..
не хватило-б
батальона бардов
здесь разогнать
стихотворный туман.

Помните?
Красному маю
ковали мы
золото строф.
В заводе ли
молоты били
рыжеволосую рысь.
Знаем мы медную силу.
Сила—
Пролетарская мысль.

*
* *

Вот, что знал
Богородский
льющий железо поэм,
если-ж
язык его
жесткий,
все равно
он
не будет нем!

— Только он
революционер истый
потому, что он
оптимист,
если были когда коммунисты—
он первейший из них
коммунист!

*
* *

Слава тебе
красная сила!
Слава тебе
парная медь!
Будем мы все на горнило
кузнечной надеждой глядеть.

Иное быть пиитой, а иное стихи слагать.

Эризий Путеанский.

ЧЕТЫРЕ СЕРДЦА.

Там на рельсе
у шестого этажа
стоит рабочий
сгибая гимном грудь...
... Три цеха, три груди
тяжело вздымающиеся:
сталелитейный,
рельсопрокатный,
кузнечный,
три сердца бьются в раскаленных черепах:
сталь,
чугун,
железо.
И тысячи, сотни тысяч рабочих:
слесаря, кузнецы, токаря, литейщики...
О, вас много, много—
тысячи братьев родных!
Вам мое первое сердце,
вам мой первый гимн,
мои упругие мысли
труду.

* * *

Рукой мозолистой страницы
перевернуть и вновь читать,
и новые нечитанные лица
своими пальцами ласкать...
А в небо кудри облаков...
Июль.
Три птицы целуют небо:
Фарсаль,
Сопфич,
Ньюпор.

Три сердца чутко трепещут:
Сальмпсон,
Клерже,
Рон.
О, моторы, аэропланы, гидропланы.
О, серебрянные плоскости,
стянутые упругими тросами.
Вам мое второе стальное сердце,
моя железная жизнь
храбрости.

* * *

И вновь зажженными глазами
смотреть листы моих страниц,
завесы поднимая камень
читать улыбки новых лиц...
Три стона души:
кисть,
палитра,
холст.
Три радости вечно весенней фантазии:
Поль-веронез,
Хром,
Ультрамарин.
Вам мое третье зажженное сердце,
моя свежая жизнь
искусству.

* * *

Последних букв игла мечети
и лунный луч в венке колец...
Смотрите! Гимн тысячилетий
зажег цветы моих сердец.
Карту мну в руках...
Америка, Австралия, Африка,
Волга, Миссисипи, Конго...
Океаны, моря, реки, озера, ручьи,
города, села, деревни, поселки...
Тысячи сердец бьются в тысячах улиц,
тысячи рук в тысячах мозолей...
Сегодня ты кочегар, завтра жокей,
художник, слесарь, цирковой артист,
эквилибрист, акробат, каменьщик,
вчера футурист, сегодня матрос,
шофер, водолив,

механик, грузчик, летчик
и всю жизнь, всю жизнь
бунтарь и революционер...
О, жизнь, великая, могучая!
тебе мое четвертое сердце.
Тебе моя радость,
тебе моя печаль, слезы,
горячие капли пота
жизни.

*
* *

Закрыта книга. Светлым взором
стихи в гирлянды заплелись...
Смотрите! Здесь веселым хором
Сердца весенние зажглись!
И четыре огромных сердца бьются в моем
огромном сердце:
Труд,
Храбрость,
Искусство,
Жизнь.
Вам мои упругие мускулы.
Вам мое молодое, гибкое тело.
Мои трепетные мысли,
моя океанная душа,
Вам мой звонкий, радостный гимн!

1918 год.

Когда пройдена жизнь и шрамы,
как в стонах позабытой драмы
впились в отравленную грудь,
когда об‘езжены все страны
и раны
гноятся в мускулах спины...
—я полюбил тебя—стальная смелость
отвага пламенных сердец,
в осколках сброшенных колец
безумством сплавленное тело!
в оркестре мышц,
где каждый мускул радость флейты,
безумству песнь поют глаза...
Я полюбил тебя гроза,
пожара смех и буйный пламень
и обожженными руками
ловлю хохочущий огонь...

Я полюбил тебя—стальная смелость
в венке из красных марсельез,
когда с небес,
как с красноогненного трона
упали красные знамена,
лишь для того, чтоб вопль труда
октябрь могуче раскидал!
Я полюбил тебя—стальная смелость,
отвага пламенных сердец
в осколках сброшенных колец
безумством сплавленное тело!

1918 год.

ГРУЗЧИКИ.

Разорван ворот у рубахи
и серыми цветами пота
расцвела могучая,
как вздыхающая Волга
медная грудь...

*
* *

Расплавленное железо солнца
вздыхая и шипя
влилось в раскрытые
рты лабазов
и жадными, как знойный восток, губами
целует раскаленные
крыши, доски, ящики, песок, якоря.

*
* *

Становись!
Грузчики!
Становись

*
* *

Тяжелыми, как цепь, шагами,
сгибая крепкие мостки
ползут они упорными рядами
склонив сожженые виски.
Кули, мешки, тюки, канаты,
железо, сталь, чугун, свинец...
Зажег серебрянные латы
на небе вспыхнувший венец.
А на барже артель
ломает широкий хребет.
Лебедка вылязгивает зубами трель
скрипит, стонет, поет...
Эх, дубинушка ухнем!

О, могучие спины!
держащие своими мышцами
миллионы пудов тяжелого, потного труда.
О, мощные груди
вздыхающие, как горны, серой пылью!
О, тяжелые мозолистые руки,
рвущие железные кольца цепей!
О, родные грузчики!
Только цепи столетнего рабства
ковали ваши свежие сердца...

* * *

И снова тяжкими шагами
ползут они на борт баржи,
а в сердце серый, пыльный камень
веками выкованной лжи...
Идут. Не слышно светлой песни,
раздавлена мешком спина...
О, тяжкий труд! Тебе „воскресни“
поет расцветшая весна.
... Эх, дубинушка, ухнем!
Развеселая сама пойдет!
сама пойдет,
сама пойдет.
Подернем!
да ухнем!
Тебе, с чугунной шеей,
Тебе, широкоскулый,
широкоплечий, мохнатый
с медной грудью
и закорузлыми руками
эта свободная, как Волга
весенняя песня.

1919 год.

ПАРОВОЗ.

Паровоз тяжелым брюхом
переполз семафорный язык,
шпалы вздрогнули
и глухо
обнажила рельса клык...
... 15 атмосфер давленья.
котел зажмурился в истоме зноя,
масло на седьмом делении,
буйный пар клокочет в глотке
сумашедшей топки...
Пена на губах свистка!

Мощной грудью давит рельсы
волосатый паровоз,
телеграфный столб гирляндой
в мутный дым цветуще врос.
Зубы сжал дрожащий тендер
и впился в стальную цепь...
О безумье! Верь легенде—
это радует небь!
Кочегар! Рассмейся мышцей!
Грудь кипит
мозоли рвутся!
Посмотри! Форсунка спит!

——

О, рычаг железного счастья!
О, мускулы торжественной скорости!
Кочегар и нефтяное сердце!
блуза измятая осколками пота!
Черный черт!
В твоих руках чугунное солнце!
В твоей груди метеор движенья!
Ты счастлив—черный кочегар
и все мы счастливы, как ты!

ТРОЕ.

Где любовь ручьит струи,
сердце каменное
плавит...
Где гранит сырых руин..
травы ласковые
травит..
Мы в Италии втроем:
небо, Федор, море...
в солнце пламенное льем,
черноземной пашни горе...
Эй соха! Твоя мозоль
пишет в Суздале иконы...
А в Италии король,
А в Италии лимоны...
Мы в Италии втроем:
небо, Федор море...
Все мы в зное раскуем
Черноземной пашни
горе!
Где тоска седых долин,
талый снег
в овраге...
Где соломенный овин
и гуменный лагерь...

И морщинистый плетень
хмурит выслепшие
брови...
А в Венеции весь день
солнце брызжет кровью...
Эй, ты Русь и Китеж-град!
Упокойся со святыми!
Остров Кипр и виноград
об'являем
молодыми!
Мы в Италии втроем:
небо, Федор, море...
Нет,
тебя мы [redacted] Русь поем,
гимн тебе—соха и горе!

АЭРОПЛАН.

И птицы белые скрижали
раскрылись в сонных облаках,
нервюры тонкие дрожали
смеялась жизнь в моих руках.
　　В коленку круглый анероид
　　ремень и стрелку вцеловал,
　　сто атмосфер пропеллер роет,
　　а горизонт еще так мал.
Ах, выше, выше белый камень
в колокола и в облака,
какими медными руками
мотора сломана рука!
　　И элерон трепещет в ветре
　　в перкаль впился дрожащий трос...
　　пять тысячь сорок девять метров
　　летит отчаянный матрос.
Стеклянный ветер колет веки
и в радиаторе сто арф...
А там внизу уснули реки,
как голубой атласный шарф.
　　Лечу все выше, выше, выше,
　　пять тысячь метров, шесть и пять.
　　Мотор, как грудь тревогой дышит
　　от ручки пальцев не отнять.
Внизу в расплавленное море
впились клещами корабли...
Кудрявый ветер в синем хоре
целует волосы земли...

1917 год.

ВСЕМ.

Лучше-б мне писать картины,
а не пачкаться в стихах...
Намочился, как резина,
я в бумажных лагерях.
Стой,. братва!—Читай страницы—
это я писал стихи!
Знайте все—в веселых лицах
улыбаются грехи!
Кубрик—наш дворец и церковь,
шканцы—знойные поля...
Эй, братишка, ты мне верь-ка—
лучше жить без короля!
Фалы в жесткие мозоли!
вымпел к клотику взнесем!
Пусть сердца поют на воле,
лайба мчится карасем!
Все на верх! Свисти тревогу....
Жаль, что я плохой поэт!
А теперь плывем в дорогу—
девять с боку—ваших нет!

ДАЕШЬ.

Все к черту в доску! У штурвала
тяну я скованный штуртрос,
дредноут море не украло
и я живой еще матрос!
В груди моей татуировка,
и в сердце Африки огонь:
Смотрите! Я безумно ловко
мозоль вбиваю на ладонь!
В расстрелах я упорно точен—
я—полуграмотный матрос,
и для меня простой рабочий.
дороже, чем больной Христос.
Фуражка вломана в затылок
и шпалер всунут в брюки—клош...
Какая огненная сила
в девизе пламенном „Даешь"!

Лассо страха на шею сердца накинь!
Образумь образа обезумевших дней!

О, матрос! Не покинь, не покинь
острова таитян—таитянки одне!

О, матрос! Не отточенных лезвий ножа
песнопевец бурьяном поросших баллад.
В эти ль дни голытьбы у голов мятежа
окровавлены волосы вольных отрад.

Песнопевец! Пьяней! Крылья радуг утра,
от утра до утра по победной трубе,
гимн поэм в поединке утрат,
О, матрос! Не покинь таитян! Не робей!

В эти ль дни голытьбы на крови мастера
строить мосты мятежей к мятежам.
О, матрос! Серебро пролитого утра
льется на сталь по закалу ножа!

Я негр. И черными руками
я славлю лезвие ножа,
сегодня в джиге первый камень
бросаю в пламя мятежа!

Цейлон. Платанции. Таверна.
И жемчуг голубых белков...
О, еслиб негры в коминтерне
венчали зарево веков!

Я негр. И никаких испанцев!
В бутылке джин навеселе!
Чечетка в джиге! В диком танце
кинжалом в горло королей!

ШТОРМ.

В этих морях, каждый всплеск—крик
быстроногих в волне коней,
пена камней, пенистых дней
и в волне, не по пене-ли миг!

Эй! Моряк! На морях корабль
Корабль на морях мятежей.
В этих черных ножнах ножей
в ржавых ладонях брызг пора.

Эй! Ронгоут скрипит! Волна!
на бушприте не соль, а медь.
не маячь на маяк—глядеть:
не твоя ли рука—верна!

В этих морях, каждый всплеск—крик,
быстроногих в волне коней
Глаз не верен—рука верней.
Не на глыбу—ли пен поник!

Эй! Моряк! На морях пират
не пирует у пен теперь,
у штурвала постой—поверь
шторм в морях теперь до утра!

Позабавь на заводе! В забаве ремень
не вернее-ли в дизеле ласка!
Обласкай и гумно и овин деревень
закорузлой ладонью и плуг твой обласкан!

Не проточен мозолью токарный станок
той забавой завод не овеивай!
Той, или этой любовью клинок
не впивается в сердце Офелии.

Позабавь на заводе! Нацелованный цех
не кусал-бы динамовы губы:
О, кольцо у творца! на цементном лице
не рацею, а гимн льет разгаданный кубок!

Обласкай и гумно и овин деревень
закорузлой ладонью и плуг твой обласкан!
О, крестьянин!—в труде расцветет этот день!
О, рабочий! Твоя-ли рождается пасха!

Н.-Новгород, Москва, Петербург, Дон, Саратов, Самара, Царицын, Астрахань, Оренбург, Ташкент, Туркестан, Киев, Одесса, Дубно, Проскуров, Тарнополь, Кронштадт, Гатчина, Рига, Кемерн, Ревель, Либава, Остров Эзель, Архангельск, Сибирь, Варшава, Крым, Село Ближне-Борисовское.

Слушай, Федька!

Я—главхимик в лаборатории сооружений СЛОВА из футуро, заявляю тебе:

— Ангидрид твою в перекись марганца, перестань стихать пихи. И закажи об этом всей своей шайке. Не надо. Брось. Оставайся Федькой. Это так увлекательно. Эх, ччерт! Помни (моя заповедь) жизнь—малина, искусство—каторга. Трудное подколодное дело искусство. А искусство слова—песнепьянство без берегов это, брат, штука, *из Бригамст взеей перебурлъ биой на фрабансту...* Слово, брат это такая *машина,* что ни каким страусным пером не описать!

Даже ни мне, ни Маяковскому.

Вво! Какая великая затея—взятся за слово для.

Слушай, Федька, ты и без слов крепкий и хрусткий, как спелый арбуз. Ты и без слов чеканишь чечетку и—главное—рыча машешь картины.

И без слов разводишь малину наших кумачевых дней. Разводи дальше. Вообще.

Отпечатай эту книгу свою (грыжу самомнения) и закайся. Закайся во время: в книге есть „ядреный лапоть“ от ухарского таланта твоего и это ценно. Останови свое мгновенье.

Будь матросом Федькой.

Живи, черт, фарабанствуй!

Твой *Василий Каменский.*

Москва. Январь. 1922 г.

Творчество это искра между избытком счастья певца и несчастьем толпы.

Творчество—разность между чьим нибудь счастьем и общим несчастьем. И тогда, когда чье нибудь счастье треплется, как последний лист осени, или первый всход весной, оно спешит пропеть свое „кукареку.

Я—здесь!

Я счастлив.

А Вы как?

Такова и книга Федора Богородского. Он продавщик с корзиной счастья, кричащей не „огурцы“, а „даешь, берешь счастье“!

Следуя глухому шепоту разума, он расказывает при каких условиях им в данный обстановке решена его задача счастья, чему он молится, что осыпает бранью, или просто толкает сапогом, как обветшалый пень, полный пыли.

Вы, у кого нет счастья, идите к новому портному.

Федору Богородскому!

Он скроит! Сошьет!

Он знает, как сшить счастье!

Он „ввинтил шуруп лучей в гайку облаков“ и неуспевши свернуть буйной головы в этот час мировых суток знает, как ложатся тени и лучи счастья.

Вы, читаюшие, смотрите, как всплескиваются волны славословья у материков брани.

Не забудьте этот случайный чертеж, раскашенный мозолистой рукой „братишки“ Федора Богородского.—Он счастлив—

—А Вы как?

Велимир Хлебников.

Москва, Январь 1922 г.

(Печатается лишь конец статьи, т. к. не хватило места для полного проявления ее гениальности.)

Если в книге нет поэзии—не надо—говорит Федор Богородский, отнимая тем самым у нас возможность критиковать его творчество.

И мы не беремся решать в окончательной форме поэт-ли Федор Богородский.

Но одно очевидно:—стихи его плохи и нецельны. Словно непоставленным голосом пытается человек петь сложные вокальные упражнения. Голос его срывается, не слушается и отдельные удачные ноты не спасают общей мелодии.

Хороший образ вымелькивает иногда на поверхности этих неугомонно топчущихся строф, но он не связан твердой системой с движением пьесы и остается одиноким.

Из отдельных картин не складывается поэма и хочется энергично растрясти сваленные в одну кучу изобразительные моменты, что бы распределить их в некоторой закономерной последовательности.

Но странное дело. Стихи вызывающие в первый момент почти досадное впечатление при ближайшем рассмотрении начинают заинтересовывать. Дело тут конечно не в литературной их значимости.

Просто слишком непосредственно подводят они к личности автора и пестрая жизнерадостная душа Федора Богородского, душа пытателя современности, веселого матроса в разливах сегодняшних событий, ругателя и летчика в лазурных пропастях жизни открывается нам со всей своей шумной непосредственостью и примитивной жадностью ко всему окружающему. В этом может быть оправдание книжки, но не стихов, хотя в конце концов здесь стихи дело второе и ни Федору Богородскому, ни нам не важно напишет ли он что нибудь еще или нет.

Сергей Спасский.

Москва.

Собственно говоря, при чем тут стихи Федора Богородского? И я и многие из Вас знают его, как талантливаго художника, циркового артиста и приключателя, с дерзко пульсирующим сердцем и огромной волей к жизни. И эта книга—обычный скэтч Федора Богородского, очередной трюк, непосредственно и искренно вылезший из черноземных недр его души.

Стихи. Они имеют право на жизнь, дело лишь в восприятии их, в понимании первопричины, заставившей маневрировать эти прыгающие строки в изрытых долинах бумаги.

В стихах есть образы, достойные пера хорошего имажиниста. Но, эти образы, отнюдь не самоцель поэмы, не самоцель и идея, которую пожалуй можно угадать. Идея—сон пролетарской мысли, глубокий и тяжелый на фоне восстаний, революций, голода и войны, пока весь мир не выльется в „декоративное панно“ коммуны, когда не будет ни каких стран, рабочие будут „поэтами великой армии поэзии“ когда будет один сплошной радостный май.

Все это не самоцель поэмы. Сущность поэмы, это—буйность Федора Богородского. Жми, дави! Даешь! Да здравствует жизнь в свободном труде! Да здравствует бодрость, храбрость и буйство!

Федор Богородский—просто переживальщик, „головотяп“, если хотите—авантюрист в хорошем смысле этого слова. И конечно, причем тут поэзия, стихи и литературность?

Ни того ни другого не надо.

Пусть оперируют этим орудием мертвые поэты и литературники. Федору Богородскому это оружие не пристало. Он слишком живой парень и озорник для книжной работы.

„Плевать на поэзию с любого везувия“.

И правильно: матросу-ли заниматься этим сентиментальным делом!

Ни любви, ни женщин нет в стихах Богородского, есть лишь полундра миру (Берегись—мир!). В Бога и Боженят!—Лай и матерщина. Но, какая матерщина? Не ругательная, а веселая, полюбовно-русская. Не в этом-ли озорном лае и черпается зажигательность этих стихов, нужных пессимистам, как крепкие лекарства?

Рабочий *Родов.*





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1922

Тираж 1000 экз. Тип. № 2 Н. Г. С. Н. Х. Р. В. Ц. № 245.


2018690447